
РОССИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Фоторобот российского обывателя¹

Л.Д. ГУДКОВ, Б.В. ДУБИН, А.Г. ЛЕВИНСОН

Почему в нашей стране выборы опять превратились в непристойную и многих устраивающую формальность? Куда исчезли полнокровная политическая жизнь и публичная борьба мнений? Где прячется наше российское гражданское общество? Почему складывается устойчивое ощущение, что большинству наших соотечественников все безразлично? Почему наши граждане так слабо пользуются даже теми демократическими механизмами, которые существуют, и так вяло объединяются друг с другом, чтобы отстаивать свои интересы и на эту власть хоть как-то влиять? Собираемый портрет российского гражданина пытаются воссоздать ведущие социологи из Левада-Центра.

Часть 1. Адаптация к репрессивному государству

Существует ли в России общество?

Лев Гудков: В каком-то смысле да. Есть общие символы, общие верования, есть некое ощущение целостности. Но все постигается в сравнении. Если сравнивать с западными устройствами, наше общество очень слабо организовано, в нем чрезвычайно низок уровень солидарности. Вся целостность удерживается не столько внутренним чувством единства, сколько механически – через структуры государственной интеграции, государственного подчинения.

И в этом смысле мы очень медленно, с большим трудом и неясными перспективами, выходим из тоталитарного целого, когда общества практически не существовало, а была система государственного тотального контроля, организации, распределения, где государство выступало и работодателем, и полицейским, и воспитателем, и надзирателем за семейными отношениями, и моралистом, и кем угодно.

Ведь что такое общество? Это система устойчивых связей, основанных на солидарности, взаимных ценностях, чувстве сопричастности и взаимных интересах. Подчеркну, что для социологии понятие «общество» лишено измерения

¹ Статья подготовлена по материалам публикации «Адаптация к репрессивному государству» в Новой газете (2008. № 23, 40, 46, 60, 63, 82).

власти – это такое объединение, которое не предполагает властных отношений. Если говорить об обществе у нас, то оно появляется, но еще очень слабое и неинтегрированное.

Что нас связывает

Лев Гудков: Если говорить об общих ценностях, то я бы разделил их на два принципиальных типа и уровня. Это коллективные ценности – империя, героическое прошлое, власти, которые все удерживают и обо всем заботятся. То есть это уровень коллективных символов. Он в значительной степени декларативный: люди сегодня хотя и разделяют эти ценности, но жертвовать чем-то своим ради того, чтобы их защищать, не очень готовы.

Второй уровень – это те ценности, которые в меньшей степени декларируются, но которыми люди руководствуются. Это ценности семьи, отношений с близкими, это консолидация на самом нижнем уровне. Солидарность на таких уровнях – это не просто традиционализм и продукт нашего прошлого, но еще и тип адаптации к репрессивному государству. Надеяться можно только на своих – на родственников, друзей, коллег по работе. На тех, кому можно доверять, с кем человек вступает в личные отношения. Они являются основным ресурсом существования и выживания. Ценности этого «ближнего» круга гораздо более важны.

Проблема в том, что не возникают, подавлены или не артикулируются ценности промежуточного уровня, которые связаны с публичностью, с более дифференцированными интересами. Сама по себе структура ценностей без этого среднего уровня, который, собственно, и есть база гражданского общества, говорит о примитивности устройства. Какие-то почки, новообразования на этом уровне появляются, но они не развернуты.

Можно, конечно, говорить, что такая ущербная структура ценностей – это остатки патриархальности (фундаменталисты и националисты именно на это делают упор). Но скорее всего, это связано со стратегией выживания, стратегией приспособления: выжить можно, только надеясь на себя самого и на ближайший круг. Это определенный тип «съеживания», попытка найти комфорт в условиях общего дискомфорта.

Следы этого заметны. У нас в обществе фантастически высокий уровень взаимного недоверия. Когда мы задаем вопрос, можно ли большинству людей доверять, то 83% наших сограждан говорят: «Нельзя». Прямо противоположная ситуация – в западных демократических странах, где очень высок уровень общественной солидарности, а также уровень идеализма и где люди готовы откликаться на различные события и общественные вызовы.

Это связано с представлением о собственных возможностях – люди готовы отвечать за то, что они могут сделать. В нашей ситуации, по нашим замерам, абсолютное большинство, то есть 90% граждан, считают, что они не в состоянии влиять ни на какие дела, которые выходят за пределы ближайшего круга. Так, 45% говорят, что максимум, на что они могут повлиять, – это на ситуацию в собственном доме и во дворе. Все остальное находится вне их контроля, они

чувствуют, что над ними господствуют какие-то отчужденные от них силы, а сами они не готовы за что-либо отвечать и ни на что не рассчитывают. И такая позиция стала, если хотите, национальным характером.

Алексей Левинсон: Если бы этот вопрос задавался не через анонимные социологические анкеты, а публике на улице, то ответ был бы примерно следующим: у нас очень много общего, мы все – русские, мы объединены сейчас, как никогда, не так, как во времена, когда у нас был развал. И наверное, ощущение, переживание единства сейчас беспрецедентно высокое. Но все это – на уровне деклараций, заявлений. Если говорить о солидарности как таковой, то я полностью согласен с Гудковым. Но переживания некоей воображаемой солидарности сейчас больше, чем когда-либо. И это объясняет феномен рейтинга Путина, феномен уверенности в том, что мы – большая страна, с которой наконец начали считаться. Это внушение себе и другим, что у нас все в порядке, что мы живем «лучше всех».

Борис Дубин: Я бы добавил к тем символам, которые вроде бы объединяют наших граждан, также декоративное православие: по последним замерам, к православным себя причисляют 70% взрослых людей.

Вообще, если суммировать то, что говорили мои коллеги, можно сформулировать теорему. Если социум нацелен на то, чтобы выживать, он, как правило, будет ограничиваться ближними связями. Над ними будут подниматься какие-то общие символы, но по отношению к ним возможны только выражения лояльности, и они не требуют никаких практических действий. Этими символами могут быть православная церковь, господин Путин, наш «особый путь», наша любовь к Родине.

Мы, например, спрашиваем: «Вы являетесь патриотом России?» – 80% отвечают «да». Мы спрашиваем: «Что такое патриотизм?» – 70% отвечают, что это «любовь к своей стране». И лишь 20% – что это «желание что-то сделать для своей страны». Такой вот разрыв. Это не случайно, потому что стратегия постоянной адаптации не дает связей солидарности за пределом ближайшего круга, а может быть компенсирована только декларативным принятием общностей верхнего уровня, которые в один период могут быть порушены, а в другой – как сейчас – могут быть мобилизованы, в том числе при активной помощи СМИ, когда те с утра до вечера поют о том, что «мы встаем с колен», что мы наконец стали большими, что нас уже начинают бояться, и т. п. В нашем случае слабость общества компенсируется сверхмощью государства. Не то чтобы оно было действительно реально сильное, но таково его восприятие и самовосприятие людьми власти. Речь идет о знаменах, а не о реальных действиях.

Отношение к будущему

Борис Дубин: Когда мы только начинали наши замеры, в начале 1990-х годов, ситуация была катастрофическая. Например, опрос 1991 г.: «На сколько лет вперед вы можете планировать свое будущее?» Оказалось, что 62% не знают, что будет с ними даже в ближайший месяц. На много лет вперед и на ближайшие 5–6 лет планируют будущее в сумме 5% населения. Трудными были также 1998 и 1999 гг. – почти половина людей не могли прогнозировать ничего дальше ближайших дней и недель.

А вот ситуация 2006 г. иная. На многие годы вперед и на ближайшие 6 лет планируют свое будущее 12%. На год-два – больше $\frac{1}{3}$ населения (вдвое больше, чем в 1991 г.). И 48% не знают, что будет в ближайший месяц, – этот показатель сократился с $\frac{2}{3}$ в 1991 г. У молодежи ситуация еще лучше. В 2007 г. 20% в сумме могут планировать на годы вперед, половина – на ближайшие год-два, и только 29% – на ближайшие месяцы и не далее.

Ситуация, несомненно, меняется – мы имеем дело с неким «плато адаптации». Это не значит, что ситуация переломилась, но явно идет адаптация. То есть ничего, жить можно, вроде стало поспокойнее, можно на пару лет вперед что-то планировать. И голосуют именно за это – чтобы все было так, как оно есть. На контрасте с тем, что по телевизору рассказывают про «страшные 1990-е», люди готовы примириться с действительностью. Тем более что возможности что-то всерьез изменить к лучшему они не видят.

Институты

Лев Гудков: Устойчивость жизни и возможность планировать появляются там, где действуют надежные, эффективные институты, которые создают организованность жизни и от которых люди не дистанцируются, не пытаются ускользнуть, в которые они включены и которым они доверяют. И они планируют свою жизнь с учетом общей стабильности.

Алексей Левинсон: Здесь важно добавить вот что. В ситуации очень остро выраженного недоверия к государственным институтам, даже в самые трудные годы, люди принимали осмысленные, стратегические решения по поводу своей жизни в том ближнем кругу, о котором говорил Гудков. Детей рожали, отдавали в школы, платя большие деньги за их образование (то есть делали инвестиции), ремонтировали квартиры и строили дома. Было резкое разделение мира – на мир частного, где живу я, мои близкие, где я управляю ситуацией; и остальной окружающий мир, где все рушится и валится и где нельзя ничего планировать. То, что мы видим сейчас, – это постепенное допущение «верхних» институтов в свою частную жизнь и проникновение этой частной жизни куда-то вовне. Я могу планировать свою карьеру не только в том смысле, что я получу образование, но и зная, что доллар будет стоить столько-то; а я буду хранить деньги в банке, хотя доверие к таковым декларируется как низкое.

Среди институтов, которые также надо назвать, – институт школы. Оценки этого института очень низкие, а реальные вложения в него делаются. И например, частная медицина – протезирование зубов, лечебная косметика. При очень низкой оценке медицины она реально процветала и процветает, и туда вкладываются деньги.

То есть общество имело дефектную структуру и продолжает ее сохранять, но этот зияющий «средний этаж» прорастает некими институциями, которые замещают гражданские. Они не являются институтами гражданского общества – они их замещают. Это «дикое мясо» на месте гражданского общества. Я имею в виду институты бизнеса, сетевые отношения, функционирующие на месте институтов, возрождение благо-дефицитарных отношений. По сравнению с нормальным гражданским обществом все это – уродство.

От нормального гражданского общества у нас есть только институты, обслуживающие витальные потребности. В армии убили сына – появляются «солдатские матери». Кинули с жильем – появляются «обманутые дольщики». Жутко обошлись с невиновным водителем – появляется организованное сопротивление водителей. Это происходит там, где какие-то ценности (отношение матери к сыну, право на свое жилье и т. д.) поставлены выше ценностей государства. Только в этой узкой зоне возникает что-то, носящее оттенок протеста и социальной организованности. И еще. Там же, на этом этаже, живут и иные люди, сознательно ставящие свои ценности выше государственных, – это преступные сообщества. Это настоящие, сильные сообщества, с высокой солидарностью и высочайшим уровнем организации.

Как перейти к нормальному гражданскому обществу

Алексей Левинсон: Нигде в мире никогда мафия не переросла в гражданские институты. Как только она достигает сложных систем, она прекращает там свое существование. В строительстве она есть, у докеров есть, в автомобильном бизнесе есть, а в сложном производстве, например в электронной промышленности, ее нет – там коррупция существует в других формах.

Лев Гудков: Не будем забывать, какой у нас бэкграунд и в какой зоне идут эти процессы «прорастания» гражданского действия. Две трети населения живут в деревне и малых городах, фактически от деревни не отличающихся. Нет ресурсов, нет никаких счетов даже в Сбербанке. Люди живут от полочки до полочки, и у них нет никаких возможностей из этого выскочить. Именно на них и ориентируется власть. Ориентируется цинично – ничего для них не делает, но на них опирается, так как именно в этой среде обделенных самые сильные надежды на помощь власти. Больше надеяться им не на кого. Эти люди являются основным электоратом партии власти, обеспечивают поддержку действующему режиму. В этом смысле существует интересный парадокс, о котором говорил еще Юрий Левада. У нас социальное недовольство не ведет к смене системы и вообще к политическим изменениям – напротив, лишь укрепляет режим, потому что оно вызывает патерналистские установки в отношении власти и требует от нее делать то, что делала власть позавчерашняя. А те изменения, которые происходят, идут в численно ограниченной среде крупнейших городов, где развита инфраструктура, где сосредоточена самая образованная, активная и обеспеченная часть общества, где люди вписаны в гораздо более открытые системы отношений.

Борис Дубин: От отношений сетевого типа или такой закрытой солидарности, как в преступном сообществе, нет эволюционного хода к формам гражданского общества. Сообщества же самозащиты по природе реактивны, они возникают в ответ на угрозу тебе, твоему имуществу, твоей семье, они неустойчивы, легко гасятся. Они нежизнеспособны за пределами реакции на конкретный вызов. Это выплеск, это брожение. Они могут дать даже что-то вроде «ситцевых революций», когда старики и старушки выйдут бунтовать. Но власти туда кидают денежку, и все расходятся по домам. Нет лидеров, нет программы, нет структуры, а значит, нет и никакой институции, которая может воспроизвестись, нет уста-

новки на лучшее, на общий подъем. Эта структура распадается после того, как гложет реакция на непосредственное давление.

Когда возникает настоящая собственность, а не имущество, появляется следующая мотивация: давай-ка я лучше это обойду, лучше отстегну, отдам левую ногу, чтобы выбраться из капкана и остаться живым. Это выход на блатные отношения, черные, серые сетевые связи.

Алексей Левинсон: В этом смысле термин «бизнес-сообщество» вводит в заблуждение. Наши бизнесмены в реальное сообщество не объединились: ни в рамках какого-нибудь РСПП, ни по принципу «малый бизнес» или «большой бизнес», ни на уровне города Рязани – никак. Среди них существует мода, протекают страхи и слухи. Это слабые формы общности, которые не ведут ни к каким действиям. С властью они общаются один на один. Ни одна власть ни в одном городе не боится, что бизнес-сообщество ей «сделает козу».

Приспособление к режиму

Алексей Левинсон: Примерно с 1915 по 1919 г. Россия бурно прорастала массой видов самоорганизации. Советы – это была одна из тысяч форм самоорганизации. Кооперативы, товарищества по обработке земли, сбытовые товарищества, организации по помощи раненым – что угодно. Это захватывало массы людей. Достаточно посмотреть местные газеты: на каждой странице – десятки объявлений о собраниях, товарищеских ужинах, встречах, дискуссиях. Это была бурная гражданская, в точном смысле этого слова, активность. Все это с 1919 г. начали «брить». При этом уничтожали не только организации, которые были альтернативой партии большевиков, – уничтожали организации вообще. В этом смысле надо вводить термин «социцид» – когда, в отличие от геноцида, уничтожаются не люди какой-то национальности, а организации. И вот то зияние на месте «среднего этажа», о котором здесь говорилось, – это результат нашей истории, результат деятельности конкретных политических сил и людей. Известно, что внутри 58-й статьи, по которой людей уничтожали и упекали в лагеря, организация – не важно, какая – автоматически получала статус антисоветской. Не важно, кто это были – эсперантисты, аквариумисты или еще кто-то. И это заправлено в нашу генетическую память, люди действительно этого боятся.

Лев Гудков: Это то, с чего мы начали разговор. Самая серьезная социологическая проблема, на которую мы наталкиваемся на протяжении 15 лет, – это наш человек с его опытом приспособления к репрессивному режиму. И это фундаментальнейшая вещь, которая блокирует и стерилизует любые формы социализации, солидарности. Мы по-разному видим, как люди приспособливаются. Через коррупцию, через семейно-родственные неформальные связи. Каждый по отдельности ищет возможности приспособливаться. Через коррупционные сделки у государства выкупается его функция. При том что государство выступает в виде конкретного человека, нельзя внести деньги в банк и выкупить имунитет у государства как такового.

Алексей Левинсон: Вот это индивидуальное откупание от государства уничтожило ростки универсализма в нашей культуре. Все, что имеет общность, либо должно получить санкцию государства, либо это «заемные», западные ценности.

Часть 2. Реформы или стабильность

Не надо дергаться

Борис Дубин: Я бы поставил вопрос так: чего люди больше желают – гарантий или перемен? Ничего не менять, оставить все как есть, чтобы было «не хуже», или должны быть какие-то изменения? Если обратиться к цифрам, то на сегодняшний момент соотношение примерно таково: 30–35% говорят, что нужны решительные перемены, а 60–65% считают, что надо осторожнее, что не надо сильно «дергаться». Что за этим стоит?

Во-первых, мы живем в стране в основном «подопечных» людей, то есть тех, кто привык к государственной опеке. А во-вторых, у значительной части переживших 1990-е годы – довольно негативный опыт прошедших реформ. Тем более что их собственные ощущения сильно подкрепляются ощущениями людей, «таких же, как они», а также действиями СМИ (в основном ТВ), которые красят 1990-е годы в такие краски, что 2000-е годы на их фоне выглядят идиллией. А 2000-е и на телеэкране, и в массовом сознании – это годы, когда к нам «вернулась стабильность». Стабильность же – это, по мнению более 50% опрошиваемых, прежде всего возможность жить на пенсию и зарплату.

Если говорить о группе, которая сумела использовать возможности (сначала она сумела их увидеть) и что-то выиграла, то она за последние годы несколько увеличилась. Если в 1990-е годы и в начале 2000-х годов эта группа стабильно составляла 7–8%, то за последние годы она выросла до 11–12%. То есть сложилась группа людей, которые смогли так или иначе оседлать обстоятельства и повернуть их в свою пользу. Однако, по нашим данным, эти люди никаких резких перемен тоже не хотят, высказываясь за ту же стабильность, за тот же политический порядок, который сложился к сегодняшнему дню, – лишь бы он не слишком сильно им докучал.

Так что в целом символика и проблематика перемен в сегодняшней России не в чести. «Верхи» ее не поддерживают, настаивая на том, что они воплощают стабильность, порядок и, как ни странно, демократию. А население в целом эту оценку принимает, в том числе – относительно демократии. В частности, 40% опрошиваемых на вопрос «что у нас в стране происходит в политическом смысле?» устойчиво отвечают, что «идет строительство демократии».

Весь опыт сзади

Лев Гудков: Хотелось бы вернуться к периоду возникновения проблематики реформ, то есть к перестроечному времени. В середине 1980-х, несмотря на то, что было повсеместное ощущение застоя и погружения в трясины, общество не было готово к переменам, и никаких особых планов реформ (ни практических разработок, ни даже общих ориентиров для изменений) не было. При этом к моменту начала наших исследований – 1988–1989 гг. – среди населения, особенно в образованных слоях, распространилось ощущение, что страна оказалась на обочине истории.

Но чего же ждали люди? Примерно того же, что и было, но в чуть лучшей форме. Чуть более гуманной, терпимой и заботливой власти, чтобы не так давила интеллигенцию, чтобы руководство страны озаботилось повышением жизненного уровня населения страны, чтобы была справедливость, чтобы не было привилегий у номенклатуры. Иначе говоря, все основные установки укладывались в образ «социализма с человеческим лицом», это были исключительно патерналистские ориентации. И так, все ждали перемен, а в чем они должны были заключаться, ни интеллигенция, ни власть, ни тем более массы не знали. Те, кто был чуть лучше готов – часть экономистов, – в импровизационном порядке сочиняли перемены, надеясь, что рынок, если его запустить, сам все отрегулирует. Поэтому все произошедшее позже было в значительной степени неожиданным, шоковым, и надежда на чудо – что освобождение от советской власти все расставит на места, а «Запад поможет», – не оправдалась. Возникла активная реакция консервативного толка на перемены: раздражение, усталость от реформ, рост ностальгии по прошлому, идеализация брежневского застоя как золотого времени стабильности, умеренного достатка и предсказуемости. Усиливалось раздражение на реформаторов, демократов.

Эти настроения приняли особо четкие очертания к середине 1990-х годов. Именно тогда начинается рост ксенофобии, национализма, раздражения против Запада, против демократии и жажда порядка и стабильности. Этому поспособствовали и внутрисполитические потрясения 1993—1994 гг., и начавшаяся чеченская война со всеми вытекающими последствиями: жертвами, терроризмом и т. д. Это чувство нестабильности усилилось после дефолта 1998 г., который очень больно ударил по людям. Даже не столько по их материальному положению, а психологически – жизнь вроде бы только стала налаживаться, а тут сильный удар, который поставил под вопрос само будущее. На этом фоне и возникла мощная потребность в вожде, в человеке, который бы вывел страну из кризиса, притормозил реформы, занялся наведением порядка, борьбой с преступностью и, главное, повышением жизненного уровня народа.

К началу президентства В.В. Путина сложилось несколько факторов: рост отечественной промышленности, необыкновенно благоприятная конъюнктура на нефть, жажда порядка и перенос этих консервативных ожиданий на новую власть. В массовом сознании именно она стала источником благоденствий, стабильности и роста доходов. И что бы мы ни говорили, надо признать, что за 7 лет (с 2000 по 2007 г.) число абсолютно бедных, которым не хватало средств на самые жизненно важные потребности, сократилось в три раза.

Самое же важное, что произошло, – это некоторое успокоение. Не вера в лучшее будущее – она отсутствует, – но некоторое успокоение, появление ощущения, что такие потрясения, катастрофы, какие были в 1990-х годах, больше не повторятся. В этом смысле, как говорил Жванецкий, весь опыт сзади. Поэтому отношение к реформам такое: да, нужны изменения, но лучше проводить их постепенно, осторожно, ни в коем случае не нужны решительные, радикальные меры. Не надо делать резких движений и рисковать.

Недовольство властью остается достаточно высоким (больше половины опрошенных положением в стране недовольны). Но это, как говорил Юрий

Левада, «лояльное недовольство». Оно становится менее интенсивным: люди в большинстве своем привыкают к действительности, считая, что перемены в стране произошли большие. Правда, желаемое не достигнуто, чудеса не произошло, но с существующей ситуацией можно смириться.

Борис Дубин: Общая идея такова. Если все останется так, как есть, если будет не хуже, то это вполне приемлемо. Сейчас уровень готовности граждан принять участие в массовых волнениях против экономической политики правительства – самый низкий за всю историю наших замеров. Особенно мало тех, кто лично готов к действиям протеста. Если же посмотреть на динамику настроений граждан, то мы наблюдаем, что настроение медленно, но улучшается. При этом люди все больше свыкаются с идеей единого правителя, у которого будто бы вся власть, но ни перед кем никакой ответственности (он тут один – сюзерен, все остальные – вассалы). Если в 1989 г., когда мы начинали наши исследования, лишь около 20% считали, что надо отдать власть в одни руки и тогда будет порядок, а вдвое больше людей считали, что никогда этого не надо делать, то ныне эти песочные часы перевернуты: 45—50% считают благом концентрацию власти в руках одного человека, а тех, кто против нее, менее 20%.

Нет ни проекта реформ, ни реформаторов

Алексей Левинсон: В период перестройки имела программа реформ клуба «Перестройка». Была рассеянная в обществе программа, которую можно было бы назвать сахаровской. Сейчас ничего подобного нет. Нет ни имен потенциальных реформаторов, ни тех пространств, в которые, по их мнению, Россия могла бы переместиться с того места, на котором она сегодня находится. Нигде, ни у кого нет никакого проекта реформ, в том числе государственного. Ибо существующие государственные проекты – это либо обещания достичь величия России, либо производственные планы насчет ВВП и тому подобное. В любом случае это не то, что можно соединить со словом «реформа» в его прежнем смысле. Когда теперь говорят «реформа», это означает – что-то немного улучшить. То, что раньше называлось реформой, несопоставимо с нынешним смысловым наполнением этого слова. Недовольство прошлыми реформами и зачастую ненависть по отношению к ним, может быть, остаются в силу инерции, но объекта этих чувств уже нет. Никаких реформаторов, повторю, сегодня нет нигде.

И второе: в качестве проекта в 1980-е существовал Запад, было представление, что наше прошлое – это тупиковая ветвь, нам надо вернуться на магистральный путь развития. И можно было предложить, например, «жить, как в Европе». Сейчас такой мысли ни у кого нет – и быть не может. С одной стороны, Запад стал ближе, о нем много известно, люди туда ездят, а многие там живут и работают. Потратив много денег, можно себе и в России обеспечить быт, «как на Западе». У всех этих решений статус бытовой, но не политический и не идеологический. А то, что Россия может двинуться по западному пути, – эта мысль уже публично не высказывается.

Лев Гудков: Большинство согласилось с тем, что у России «особый путь». В чем он заключается, никто не знает, да это и не важно. Важен акцент на то, что мы сами по себе и никакие стандарты к нам применить невозможно.

Борис Дубин: Была еще одна важная составляющая проекта реформ (особенно при «раннем» Ельцине) – вернуться в дореволюционную Россию, «которую мы потеряли», вычеркнуть из истории советский период. Теперь эта идея ушла, восстановлено «позитивное» отношение к советскому прошлому. Оно стало «нашим», его приняли со многими его символами, с его гимном. При этом, правда, не отказались и от дореволюционной России – скорее эти две России оказались связаны между собой. В отличие от ельцинских идеологов, которые были склонны рассматривать СССР как девиацию, нынешние идеологи выстроили прямую линию преемственности. Все это, как поет Газманов, наша страна: и Романовы, и ГУЛАГ, и Сахаров, и стройки пятилеток – все это наше единое прошлое.

Алексей Левинсон: К этому единому целому принадлежит и путинское время. Вот на этом пространстве мы и топчемся.

Борис Дубин: При этом, обратите внимание, из этого прошлого-настоящего оказались начисто изъяты «лихие 1990-е», на их месте – черное пятно.

Неустойчивая стабильность

Лев Гудков: Очевиден факт провала всех решительных, фундаментальных реформ. Одиннадцать попыток реформировать армию, превратив ее из массовой мобилизационной в профессиональную, провалились. Попытка создать независимый суд, который бы результативно защищал интересы населения а не власти, полностью не удалась. А соответственно нет никаких форм защиты собственности от административного аппарата и поддержания реальной стабильности. Однако, согласно результатам свежего нашего исследования российского среднего класса (не менее 2 тыс. долларов месячного дохода на человека), у нас в стране эпоха стабильности вроде бы наступила. Но что это за стабильность, если даже 60% тех, кто констатирует ее наличие, говорят, что она ненадолго? И что она столь неустойчива, что может обрушиться в ближайшее время? Этот парадокс отражает ощущение, что в наступивших изменениях нет институциональной опоры. Ибо уверенность задается лишь эффективно работающими институтами: судом, правовой системой в целом, разделением властей и их контролем друг за другом, открытой и эффективной прессой, настоящим парламентом и прочими. Ничего этого в нашей жизни нет, а значит, есть неуверенность, ощущение ограниченности горизонта.

Алексей Левинсон: Интересно, что в последнее путинское время, то есть накануне и в ходе смены власти в Думе и на посту президента, у представителей мелкого и среднего бизнеса возникла своего рода ностальгия по «предпоследнему» путинскому времени. Фокус-группы накануне выборов показали, что бизнес почувствовал нестабильность, ему стало хуже. Например, Медведев сказал, что будет заниматься проблемами малого бизнеса. Казалось бы, все замечательно, но оказывается, что эти заверения, как ни странно, заставили бизнес

нервничать. Потому что Медведев послал тем, кто жирует на малом бизнесе, сигнал, что он заберет его из-под них, и они рванули брать все что можно, пока не стало поздно. Таким образом, ожидание перемен к лучшему обернулось для бизнесменов ростом поборов, неустойчивости, нарушением сложившихся правил игры. Российский бизнес давно выдвинул свой вариант отношений с властью: не мешайте, мы сами все сделаем. Не надо законов – мы оплатим все. Потому что если известны таксы и известно, кому платить, то все это уходит в себестоимость, и можно жить спокойно. Но когда приходят дважды, вместо того чтобы прийти один раз, то это уже опасно. Идеальное состояние для мелкого бизнеса – это чтобы на него не обращали внимания, не трогали.

Борис Дубин: Мы имеем дело с ярко выраженным адаптивным обществом. Самые разные группы ориентированы на адаптацию, а не на изменения. Мы задавали вопросы представителям так называемого среднего класса (их в стране – несколько процентов, какая же это середина?), и 60% среди них принимают нынешнюю незаконную ситуацию. Потому что они знают, как себя вести. Они предпочитают договориться, а не доводить дело до суда; платить за медицину, если им дадут надежду, что «сделают нормально». Платить – это характерно – за норму, а не за повышенное качество.

Лев Гудков: Все понимают, что власть сегодня – у силовиков и связанного с ними крупного бизнеса. Поэтому пытаться дергаться при такой политической ситуации (власть оперирует милицией, спецслужбами, судами, прокуратурой, налоговиками) бессмысленно. Можно лишь приспособливаться, уменьшая давление и риски, покупая услуги у государства. Поэтому никакого серьезного представления о будущем у людей нет. В случае ухудшения ситуации более обеспеченные готовы думать, как из страны слиться. Причем они в первую очередь думают о детях – ведь бизнес весь не вывезешь.

Спрос на свободу

Алексей Левинсон: Всегда важно увидеть процесс перехода слов и ценностей из рук одной социальной группы к другой. Это относится и к категории свободы. Неслучайно сегодня о свободе мы слышим не откуда-нибудь, а из Кремля. Это означает, что понимание свободы стало иным. Накануне парламентских выборов прошлого года мы задавали вопрос: «Чувствуете ли вы себя свободным человеком?» И получили феноменальный результат: более половины жителей России ответили «да». И если этих людей что-то и выделяет из массы россиян, то лишь тот факт, что они в большинстве сообщали о своем намерении: «Буду голосовать за “Единую Россию”». Вот сегодняшние поборники свободы! Эти цифры оставляют мало места для иронии и напоминают недавнюю формулу о том, что «мы строим демократическое общество с президентом Путиным во главе». Когда-то Путин воспринимался как главный демократ, потому что он принял эстафету из рук Ельцина, но потом изменилось само понимание слова «демократия». Недавно мы задавали вопрос: «Что для вас важнее – права человека или порядок в государстве, свобода слова и свобода выезда или нормальная зарплата и приличная пенсия?» Оказалось, что порядок предпочти-

тельное прав человека, а свобода выезда и свобода слова предпочтительнее, чем хорошая пенсия и зарплата. Перевесы не очень большие, но они есть. При пересечении этих высказываний мы выяснили, что в обществе есть небольшая категория (примерно 12%) тех, кто выступает за «хлеб и порядок», а свободы и прав им не нужно. Около 30%, безусловно, – за права и свободы, такие романтики свободы, для которых не имеют значения материальные блага. Но самое интересное – это остальные опрошенные, которым в одном случае важнее свобода, а в другом – блага. Это концепция свободы как ценности релятивизированной, относительной, о которой можно торговаться. Если свобода перестает быть ценностью абсолютной, она может раздаваться, дариться и продаваться, как прочие блага и меновые ценности. Тогда власть ею может наделять тех, кто заслужил.

Борис Дубин: Мы вновь возвращаемся к тому, с чего начали: возможности или гарантии; реформы или статус-кво? Как видим, преобладающая часть населения – до 60% – не против свободы. Особого желания отправиться в лагерь или казарму вроде бы нет. И все-таки свобода для наших соотечественников не главное, а главное – порядок, стабильность, регулярная и постепенно повышающаяся зарплата или пенсия, чувство собственной защищенности. Связь между всем этим и свободой не просматривается. Ноу-хау развитых обществ – соединение идей самостоятельности, солидарности, свободы и соревнования – не прижилось. У нас все это порознь, а главное – пусть все будет как есть.

Лев Гудков: Главный мотив наших граждан – «не доставайте». Оставьте в покое, не напрягайте, не давите сверх меры! Мы готовы вас всех терпеть, но не переступайте черту. Главная интенция масс – обеспечьте нам некоторые условия более-менее комфортного существования. За это мы готовы отдать все что хотите.

Борис Дубин: Примерно 57% опрошенных считают, что в стране достаточно свободы, 24% считают, что ее слишком много, и только 12% – что ее слишком мало.

Лев Гудков: Упомянутые 12% – это те, кто как-то информирован о том, что такое демократия, это люди более образованные, с культурным капиталом, ориентированные на расширение своего мира и возможностей. Это и интенсивно работающие люди, не нуждающиеся в государственных гарантиях, с минимальными патерналистскими ориентациями. Для большинства же населения (в отличие от этих 12% и той четверти населения, которые и к самой идее свободы относятся, видимо, с неприязнью) свобода не является проблемой, это не то, о чем стоит задумываться.